Лев Нецветаев. Пушкин и Языков. К., м. 1991

ПОЕЗДКА А. С. ПУШКИНА В ЯЗЫКОВО

ГЛАВА ИЗ РОМАНА «МИНУВШЕГО ЛЕПЕТ И ШЕЛЕСТ»

Путешествие в тёплую сухую погоду по ровной дороге среди позолоченных сентябрём дубрав, берёзовых рощ и осинников было не утомительным, и в едва начавших брезжить сумерках Александр Сергеевич подкатил по аллее усадебного парка к большому двухэтажному дому, под высокое каменное крыльцо с семью дорическими колоннами. С обеих сторон к дому примыкали

флигели, в которых размещались комнаты для гостей и различные службы.

К Пушкину вышел слуга, поклонился и вопросительно на него посмотрел. Александр Сергеевич не успел отрекомендоваться, как на крыльцо вышел один из хозяев – Пётр Михайлович Языков. Он не был знаком с поэтом, но по портретам сразу узнал гостя и, ничем не проявив своих чувств, пригласил его пройти в дом.

– К сожалению, братья в отъезде, – сухо произнёс хозяин. – Но я искренне рад вашему приезду и готов вам услужить моим гостеприимством.

– Когда ждёте Николая Михайловича?

– Обещался быть через неделю. Ужин где-то через час.

Пушкин осмотрел предложенную ему комнату и остался доволен. Из обширного окна открывался просторный вид на поля и перелески, рядом с домом был пруд, на берегу стояла дощатая купальня, к бревенчатым мостам была привязана лодка.

– Просторно здесь Языкову и вольно, – с невольной завистью вздохнул Пушкин. – Я такую волю только и знал, что в Михайловском… А братец у него суховат, и взгляд, как у цензора, придирчивый.

Пётр Михайлович был смущён неожиданным приездом именитого поэта и чувствовал себя не в своей тарелке. Он действительно был суховат в общении с людьми, с трудом шёл на сближение, но сердце имел доброе, а его напускная строгость была всего лишь прикрытием врождённой стеснительности.

«Чем мне его занять? О чём с ним говорить? – с тревогой думал Пётр Михайлович. – Ладно, покажу ему свою коллекцию минералов, но будет ли она ему интересна? В моём собрании нет ни одного драгоценного камня, а поэтов, конечно, привлекает лишь то, что блестит, что вкусно пахнет, сладко поёт, от них поэт заводит в себе поэтическую пружину и начинает петь, как механический соловей, пока не закончится его завод».

Пушкин приехал в Языково не только из-за желания навестить Языкова, но имел также уверенность, что здесь он познакомится с рукописью академика Рычкова о пугачёвском бунте. Кроме того, большой интерес для исследователя крестьянского восстания представляла история семьи Языковых. Прадед Петра Михайловича отличался жестоким отношением к своим рабам. Когда бунт огненными всполохами растёкся по Симбирскому уезду, предка сегодняшних владельцев усадьбы сожгли заживо взбунтовавшиеся крестьяне. Александра Сергеевича эта трагедия весьма волновала, потому что казалась нереальной, и после ужина, когда гость и хозяин переместились в библиотеку, он умело направил разговор в сторону интересующей темы.

– Согласитесь, Пётр Михайлович, что полвека назад отношения между слугами и господами были душевными, в определённой степени даже – родственными.

– Вряд ли они сильно изменились с тех пор, – глядя на полено, догорающее в камине, хмуро вымолвил хозяин. – Ненависть к барину у мужика не со вчерашнего дня появилась. Её начало в потёмках истории. Гляньте на полено, оно почернело, почти не горит, но обдует его сквозняком – и пламени тесно станет в камине.

– Всё-таки наш народ изначально добр, – мягко сказал Пушкин.

– Я про эти начала ничего не ведаю, а вот концы у нас все кровавые. Добр, говорите?.. Неверно, недобр, но временами на него накатывает добродушие. К моему прадеду слуги тоже зла не имели. Говорили, мол, прости нас, барин, что мы тебя сейчас в огонь кинем. Но это не мы, это мир так решил. Так и сожгли живьём со слезами на глазах. После этого я не знаю, что и подумать о народе. И сейчас мужик глядит на барина волком. Он ведь справедливо считает нас захребетниками, а землю – своей.

– Всему виной указ о вольности дворянства, – сказал Пушкин. – Крестьяне решили, что волю несчастный царь Пётр Фёдорович объявил и для них, но дворянство это скрыло от народа. Теперь дворянин может не служить, рассуждает мужик, тогда по какому праву он владеет мной и землёй? Надо было вместе с дворянством поволить крестьянству, только как? Я разговаривал со Сперанским, но он будущее счастье России видит в торжестве закона как единственного мерила социальной справедливости.

Было видно, что флегматичного Петра Михайловича разговор стал задевать за живое. Он даже слегка раскраснелся от охватившего волнения и, подойдя к шкафу с книгами, взял тетрадь в сафьяновом переплёте.

– Для меня приятная неожиданность встретить в вас, Александр Сергеевич, столь глубокое и верное понимание существа государственного устройства России. Объявляю вам, что я – замшелый ретроград и не верю ни в прогресс, ни в революцию, я верю только в Спасителя. И до его пришествия всё дворянство, от однодворца до царя, должно быть занято тем, чтобы сохранить Россию, не дать ей рухнуть в пучину бунта, сберечь народ в его единстве, потому что разобщённый народ не сможет сохранить свою душу в первозданной чистоте и свежести, скорее всего, он её потеряет, и ему будет не с чем предстать на Страшном Суде.

Александр Сергеевич внимал хозяину с большой заинтересованностью, потому что, вопреки устоявшемуся мнению, недалёких и равнодушных людей в России обитает гораздо больше, чем можно вообразить, а люди со свободным складом ума представляют большую редкость. У нас так сложилось, что начинает человек размышлять, как обустроить Россию, так, поплутав среди родных овинов, невольно устремит свой взор на просвещённый Запад и там сразу же отыщет пример для подражания.

– Осмелюсь предположить, уважаемый Пётр Михайлович, что в сей тетради заключён ваш прожект относительно разумного сохранения государственных устоев России?

– Скорее это плоды случайных и незрелых мыслей, – слегка вспотев от возбуждения, сказал хозяин. – Здесь нет какой-то системы, просто мои догадки, как построить отношения между дворянством и крестьянами на справедливых основаниях.

– Любопытно, весьма любопытно! – оживился Пушкин. – Не сомневаюсь, что вам это удалось сделать не так темно и заумно, как у английского политэконома Адама Смита. Я, признаться, прочитал у него всего пару страниц и впал в такую спячку, что очнулся от неё на другой день к обеду.

Для того чтобы приступить к изложению своих изысканий, Петру Михайловичу понадобилось некоторое время. Он прошёлся по библиотеке, остановился возле окна, в котором догорал закат, и, повернувшись к гостю, скрестил руки на груди, что Пушкину показалось наигранным байроническим жестом.

– Хотя Россия совсем недавно одержала решительную военную победу над объединёнными силами Европы и дворянство показало себя лучшим образом, я убеждён, что его историческая миссия близка к завершению. После указа 1763 года о вольности дворянства наше владение землёй и крестьянами потеряло всякие основания. Раньше мы платили за права дворянства ратной или штатской службой. Получив вольность, дворянство, превратившись в своём большинстве в нахлебников, потеряло моральное право владеть поместьями. Собственно, пугачёвщина с того и началась, что народ поверил слуху о вольности, которая дана ему наравне с дворянством. И моего деда сожгли по народному правосознанию как одного из тех, кто украл крестьянскую волю.

– Наша история так ужасна своими кровавыми неистовствами, что порою начинаешь задумываться: а имеет ли она какой-нибудь разумный смысл?

– Смысл история имеет тогда, когда это смысл верхнего правящего слоя людей. И если он ими теряется, то история превращается в бессмыслицу. Россия потеряла правду и совесть, и без них ей не жить. Раньше хранителем нравственных начал был патриарх, а сейчас всё сосредоточено в царе. Ему я отправил уже год назад свои размышления о России.

– И что из этого вышло?

– Не знаю, – пожал плечами Пётр Михайлович. – Если я ещё здесь, значит, ничего противоправительственного в моих писаниях нет, а на глупости не отвечают.

– Как-то не верится, что вы способны занять внимание государя чепухой, – сказал Пушкин. – Говорите, что вы такое писали, и, возможно, я найду способ довести это до сведения его величества.

– Моя мысль состоит в том, что неравенство можно сгладить, если всех крестьян перевести в разряд государственных.

– Вы замахиваетесь на святое, на крепостные души, – покачал головой Пушкин. – Без них нет и дворянина. Но продолжайте, продолжайте.

– Государство собирает с крестьян подати и обеспечивает дворянам определённые выплаты, исходя из имевшихся у него душ до какого-то срока, пока дворянин не определится, каким способом он сможет зарабатывать на жизнь.

– Да вы, Пётр Михайлович, опаснее Робеспьера! – рассмеялся Пушкин. – Где же наши дворяне будут работать? Многие из них ни к чему не способны.

– Уверен, откроется много вакансий, – убеждённо произнёс Языков. – Во-первых, это управление – административное, хозяйственное, полицейское, территориями от одной-двух деревень до волости, уезда, губернии, вплоть до генерал-губернаторства. Молодых дворян надо заставить учиться агрономической науке, чтобы в каждой волости был толковый агроном; медицине, чтобы в каждой волости были врач и больница. Все налоги пойдут в одно место – в государственную казну, уверен, в распоряжении правительства денег будет столько, что можно будет строить дороги, мануфактуры, вместо бурлаков пустить по Волге паровые баржи. Конечно, французские фабриканты роскоши обнищают без русского мотовства, но Россия будет от этого только в выигрыше тем, что ни один пахотный крестьянин не сможет упрекнуть дворянина, что тот расселся на его шее.

– А как поступить с такой прекрасной усадьбой, как ваша? – задумчиво произнёс Пушкин, весьма удивлённый тем, что встретил в Симбирской губернии столь радикального вольнодумца.

– Все усадьбы надо оставить их владельцам, и землю, что останется от повышения размеров крестьянского надела до пределов, когда его сможет обрабатывать одна семья. Лишённые дармовых работников помещики будут вынуждены вести хозяйство, арендуя крестьян на срок за договорную плату. Спросите, где взять деньги? В ссудном банке, который учредит правительство. Конечно, не всё пойдёт гладко, кто-то и воспротивится переменам, но за то, чтобы в России хотя бы на сто лет воцарилась справедливость, дворянам надо кое в чём себя утеснить.

– Можете записать меня в свои сторонники, но таких найдётся не более тысячи на всю Россию, – сказал Пушкин. – В ваших рассуждениях я не вижу царя. А для успеха вашего предприятия важно знать, согласится ли император Николай Павлович стать мужицким царём.

– Вот как вы переворачиваете, – сказал Языков. – России нужен не дворянский, не мужицкий, а народный царь. Трудящиеся дворяне – это тоже народ, и ничто не мешает им быть умственной аристократией народа.

В комнату вошёл слуга, положил в камин три дубовых полена и стал зажигать одну за другой свечи. За окном где-то в парке ухнул филин. Александр Сергеевич зябко поёжился.

– Кажется, Пётр Михайлович, я знаю, почему государь не откликнулся на ваш проект. Вы можете не беспокоиться: я уверен, что он всё предложенное вами одобряет, но делать ничего не будет.

– По какой же причине?

– Во-первых, ваш план обустройства не примет дворянство, а оно много сильнее царя, когда дело дойдёт до его разорения. Во-вторых, любая, даже самая продуманная попытка пошевелить Россию обернётся бунтом, по сравнению с которым пугачёвщина покажется шалостью.

– Как же мне распорядиться с этим? – Языков взял со стола сафьяновую тетрадь.

– В столь щепетильном деле я вам не подсказчик, – вздохнул Пушкин. – Оставьте в библиотеке, для своего оправдания потомкам. Мы не вольны распоряжаться своей судьбой, и судьба России решится сама, будем верить, по Божьему промыслу.

– Благодарю, что помогли мне разобраться в себе, – тихо произнёс Языков и бросил тетрадь в наполненный пламенем камин. Огонь мгновенно объял сухие листы бумаги и кожу обложки и начал их скручивать и корёжить, обращая в пепел.

Языковы жили просторно, службы и комнаты для слуг были устроены так, чтобы они не создавали помех хозяевам и гостям. Во всём двухэтажном, с высокими на первом этаже просторными окнами, доме стояла торжественная тишина, как будто он был не только жильём, а чем-то вроде музеиума. Навощённые паркетные

полы, присутствие почти в каждой комнате колонн и полуколонн, прямых родственников той семёрки дорических столбов, что подпирали фасад, мраморные камины, лепнина потолков на античные сюжеты могли ввести зрителя в заблуждение относительно того, в какой части России находятся столь выдающиеся чертоги. Это вполне могли быть и Петербург, и Москва, и кичащийся своим первородством Ярославль, но никак не полурусская мордовско-чувашская окраина коренной России.

По сквозному коридору первого этажа неслышно прохаживался лакей и время от времени останавливался возле дверей гостевой комнаты, чтобы прислушаться и по зову изнутри подать тёплую воду для умывания, мыло и мягкое полотенце, но до его слуха доносилось еле слышное шелестение страниц. Александр Сергеевич медленно перелистывал «летопись» академика Рычкова, свидетеля осады бунтовщиками Оренбурга. Наконец искомая страница нашлась, и взгляду поэта открылась трагедия отца, потерявшего в русском междоусобье сына. Острым ногтем мизинца он пометил взволновавшее его место в книге, где рассказывалось о свидании осиротевшего отца со лжецарём в подвале дома Пустынникова. Впоследствии он записал для памяти:

«...Увидя Рычкова, он (Пугачёв) сказал ему: "Добро пожаловать", и пригласил его с ним отобедать. "Из чего, – говорит Рычков, – я познал его подлый дух и, помолчав немного, стал ему говорить, как он мог отважиться на такие злодейства". Пугачёв отвечал: "Виноват перед Богом и государыней, но буду стараться все мои вины заслужить..." Пугачёв спросил у него, кто он таков. Говоря ему о своём сыне, убитом в сражении против сообщников Пугачёва, Рычков не мог удержаться от слёз. Пугачёв, глядя на несчастного отца, сам заплакал».

Александр Сергеевич невольно представил себе эту встречу, и глаза его тоже увлажнились слезами. «Сцена, достойная пера Шекспира, – подумал он. – Но кому я в ней сочувствую, или гляжу на неё со стороны, или мне жалко себя, поскольку на месте Рычкова мог вполне оказаться и я, живи я в то время? Конечно, мне жалко Рычкова, но разве Пугачёв не достоин моего сочувствия? О подлом пугачёвском духе я изрядно наслышан, но народная правда не может быть подлой, а Пугачёв – это материализация народной правды, и бесчинства, сотворённые им во время бунта, не должны заслонять главный смысл пугачёвщины: неодолимое влечение народа к справедливости, которой в России нет, и бог знает, когда она будет».

Не дождавшись зова, в комнату осторожно заглянул слуга.

– Пора, барин, к столу пожаловать, а вы ещё не умывались.

Совершив утренний туалет, Александр Сергеевич прошёл в столовую, где его ожидали Языков и Бенардаки, которого хозяин представил гостю.

– Это опора дворянского благосостояния, господин Бенардаки. С тех пор, как он обосновался в наших краях, у меня нет забот, как с выгодой избавиться от продажного хлеба, – сказал Языков и с улыбкой добавил: – Дмитрий Егорович почему-то в этом году явился раньше договорённого между нами дня и что-то такое содержит в своём портфеле.

Пушкин был удивлён молодостью откупщика, про которого уже слышал от Загряжского, что он грек, активный участник освободительной борьбы против османского ига, эмигрировал в Россию, дослужился до поручика, вышел в отставку, занимался коммерцией в Таганроге, Астрахани и теперь взял в свои руки всю хлебную торговлю Среднего Поволжья.

– У меня неотложные дела в Пензе, – заметно смущаясь, сказал Бенардаки. – Но я решил сделать крюк, чтобы засвидетельствовать почтение лучшему поэту России.

Пушкина никогда не хвалили по утрам, а теперь, когда он стал женатым человеком, то с трудом, но притерпелся к утренним упрёкам жены за выходки, недостойные семейного человека, которые с ним иногда случались. Он весело посмотрел на Бенардаки и протянул ему руку.

– Рад познакомиться. Признаюсь, что впервые встречаю откупщика, который хвалит меня за мои вирши, да ещё и до завтрака!

– Дмитрий Егорович, как только появился в губернии, так всех удивил своей щедростью, – сказал Языков. – Он взял у нескольких помещиков хлеб с обещанием заплатить по договорённой цене, а заплатил на полтора рубля больше.

– Да вы, оказывается, благотворитель, – промолвил Александр Сергеевич тоном, в котором можно было услышать насмешку, но Бенардаки не обратил на это внимания. Он щёлкнул застёжкой портфеля и вынул из него книгу, которую поэт сразу узнал: это было только что выпущенное Смирдиным полное издание «Евгения Онегина».

– Ах, оставьте! Не хочу видеть моего романа после того, как я побывал в лапах у Смирдина. Я никогда, даже в самых диких фантазиях, не мог себе предположить, что мой полный Онегин, уже известный всей России как щёголь, явится в столь неопрятном виде. Что ни говорите, но книга издана крайне небрежно. Кстати, за сколько вы её приобрели?

– Ваша поэзия, Александр Сергеевич, дороже любых денег, – проникновенно вымолвил Бенардаки.

– Так уж и любых? – усмехнулся Пушкин. – "Всё куплю, сказало злато". Так сколько же?

– Тринадцать рублей ассигнациями.

– Тринадцать? – поразился Пушкин. – Это ведь чёртова дюжина! А ведь я предупреждал Смирдина, чтобы он ставил условия книгопродавцам не продавать за тринадцать. В Петербурге, в Казани торгуют за двенадцать. У кого вы её приобрели? Я немедленно отправлюсь к нему и надаю пощёчин мерзавцу!

– Её привёз из Москвы мой приказчик, – сказал Бенардаки. – В отчёте расходов он указал стоимость книги – тринадцать рублей.

– Каков мошенник! – с явным облегчением воскликнул Пушкин. – Десять дней назад в московских лавках она стоила двенадцать. Передайте своему приказчику, что я огорчён его проступком, хотя как торгаш торгаша его понимаю. Вы удивлены, господа, тем, что я сказал? К несчастью, я не граф Строганов, чтобы служить из благотворительности. Я – обременённый многочисленным и прожорливым семейством помещик самой средней руки и вынужден с отвращением и жадностью брать деньги за своё вдохновение, хотя готов служить своему отечеству даром, и не из-за бескорыстия, а потому что убеждён: деньги очень скоро сделают литературу вшивым рынком, где будет не протолкнуться от набежавших со всех сторон торговцев залежалыми словами.

– А я приказчика за вашу книгу наградил пятью рублями, – сказал Бенардаки. – Так рад был её увидеть, а теперь ещё более счастлив, что вижу вас. Конечно, издание можно было сделать побогаче, но ваш роман бесценен, и я прошу вас оставить своё имя на титульном листе как память о сегодняшнем дне.

Перо и чернильница были спрошены догадливым Бенардаки у хозяина заранее, и Пушкин, не скрывая, что ему приятно это делать, подписал книгу поклоннику своего таланта. За столом ничего о литературе не говорили. Языков и откупщик после завтрака собрались ехать на мельницу, которую Бенардаки хотел посмотреть, чтобы решить, возможно ли расширить на ней производство муки до объёмов, которые могли бы сулить существенную выгоду.

После завтрака Александр Сергеевич вернулся в гостевую комнату и некоторое время стоял возле распахнутого для проветривания окна, вдыхая запахи осеннего парка, уже наполовину утратившего листву, которая под порывами ветра вспархивала над землёй и тут же падала вниз, и только один сумел взлететь выше липы, с которой упал, и, набирая высоту, растаял в небе.

Убрав со стола рычковскую «Летопись», Пушкин положил перед собой письмо жены, перечитал его, пометив места, которые нуждались в немедленном ответе, и потянулся пером к чернильнице.

«Пишу тебе из деревни поэта Языкова, к которому заехал и не нашёл дома... Меня очень беспокоят твои обстоятельства, денег у тебя слишком мало. Того и гляди сделаешь новые долги, не расплатясь со старыми. Я путешествую, кажется, с пользой, но ещё не на месте и ничего не написал. И сплю и вижу приехать в Болдино и там запереться...»

Конец главы

Николай ПОЛОТНЯНКО